



РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ

Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Резервная копия

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Резервная копия / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Человечество живёт под «Нимбом» — глобальной системой, которая много лет назад тихо «помогла» памяти каждому: каждый человек носит «Узел», тонкую нейроинтерфейсную ткань на затылке. Память сделалась удобной, гладкой, чужой. Вера Лемберг — реставратор аналоговых фотоплёнок, одна из последних, кто работает руками. Двадцать лет назад они с мужем Адамом потеряли пятилетнего сына Тима в пожаре; чтобы Адам выжил, ему стёрли память о ребёнке. Сюжет запускает мелкий сбой: Адам уверенно «вспоминает» у Веры шрам, которого никогда не было. Ядро системы деградирует. Скоро мать перестанет узнавать ребёнка. Повесть о цене удобной памяти и о двоих, становящихся резервной копией друг для друга.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Серебро	5
Часть вторая. Гигиена	10
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Эдуард Сероусов

Резервная копия

Часть первая. Серебро

1

Адам рассказывал, как они познакомились, и всё было не так.

Он рассказывал хорошо — он всегда рассказывал хорошо, — откинувшись в кресле у окна, в том вечернем свете, который к восьми становился цвета слабого чая. На лице у него стояла мягкая полуулыбка, появлявшаяся, когда он перебирал что-то дорогое: так перебирают в кармане гладкий камень, не глядя, для удовольствия пальцев. Вера сидела напротив за рабочим столом, держа на весу катушку чужой плёнки, и слушала, как муж придумывает её.

— Дождь шёл, — говорил он. — Не сильный, такой, знаешь, висячий. Ты стояла под жёлтым навесом у трамвайной остановки, и я ещё подумал — она специально встала под жёлтое, чтобы её было видно издалека.

Дождя не было. Они встретились в марте, в сухой, обметённый ветром март, в подвальном архиве Лемберга, над коробкой подмокших негативов, которые он принёс реставрировать и которые, как выяснилось, реставрировать было нечего. Никакого навеса. Никакого трамвая. Она хорошо это помнила — помнила без всякого Узла, своей собственной, выношенной памятью: запах подвала, уксусный и сладковатый, лампу под зелёным абажуром, его руки, неловко державшие испорченную коробку, будто раненую птицу.

Она не поправила его сразу. Люди путают. Память — не сейф, она протекает, наплаивает, дорисовывает; Вера знала это лучше многих, потому что всю жизнь имела дело с тем, что выпцвечает. Жёлтый навес был красивее подвала. Пусть.

— И ты обернулась, — продолжал Адам, и голос его сделался тише, нежнее, — и я увидел этот маленький шрам. Вот тут. — Он поднял палец и коснулся собственного виска, у самого края глаза. — Совсем крошечный. И почему-то именно из-за него я понял, что пропал.

Пальцы у Веры окрасились ещё в юности и больше не отмывались до конца — серебро и реактивы въелись в подушечки, оставив их вечно сероватыми, как у наборщика. Сейчас она почувствовала, как эти подушечки стынют, по одной, словно кто-то задувал в ней свечи.

У неё не было шрама. Не было никогда — ни у глаза, ни где-либо ещё на лице; это лицо она знала наизусть, как реставратор знает каждую царапину на доске. Шрам был чужой.

И не просто чужой — конкретный. Вот что её обдало холодом. Адам не ошибался, не приукрашивал, не сливал её с какой-то другой женщиной из вежливой невнимательности. Он описывал шрам с той точностью, с какой описывают увиденное: маленький, у самого края глаза, серповидный. Так помнят не выдумку. Так помнят чьё-то лицо.

Вся её работа была про лица — про то, как они выпцвечают на эмульсии, как их теряет и находит время. И ещё она знала, хоть и старалась знать поменьше, как лица хранит Узел: узнавание сбрасывается во внешний слой, общий, дешёвый, и там, в этом слое, лица людей лежат рядом, плечом к плечу, миллионами. Шрам у края глаза был чьим-то настоящим шрамом. Он просочился.

— Адам, — сказала она ровно, кладя катушку на стол, чтобы руки нашли себе место. — У меня нет шрама.

Он посмотрел на неё всё с той же мягкостью — посмотрел на женщину со шрамом, которой здесь не было, — и улыбка его не дрогнула.

— Ну как же, — сказал он ласково. — Я его прекрасно помню.

За его ухом, у основания черепа, где под кожей сидел Узел, ровно тлел индикатор — тёплая зелёная точка, которую за годы перестаёшь замечать, как перестаёшь замечать дыхание. Вера смотрела на эту точку и впервые за долгое время её увидела.

— Покажи, — сказала она и подвинула к нему через стол маленькое настольное зеркало в латунной оправе, которым проверяла отпечатки на блик.

Адам взял его, всё ещё улыбаясь, и поднёс к её лицу, и она смотрела, как он ищет на её виске то, чего там нет. Полуулыбка держалась. Потом — на секунду, на одну только секунду — между бровями у него прошла тонкая морщинка, как трещина по льду, которую слышишь раньше, чем видишь. Рука с зеркалом чуть опустилась. Он моргнул.

— Странно, — сказал он. — Я был так уверен.

И потёр затылок — коротко, под ухом, там, где Узел, — жестом человека, который полез в карман за ключами и не нашёл их.

2

Ночью Вера не спала, а под утро встала и спустилась в студию, потому что руки просили работы, а голова всё равно была занята шрамом.

Студия была её настоящим домом — две полуподвальные комнаты под квартирой, унаследованные от Льва вместе с ремеслом. Здесь пахло так, как давно уже не пахло почти нигде: фиксажем, уксусной кислотой, старой бумагой, тем особенным сладковатым тлением, которое идёт от умирающей ацетатной плёнки и которое Лев называл уксусным синдромом — «плёнка плачет уксусом, когда ей пора». Вера зажгла рабочую лампу, надела белые хлопковые перчатки и достала из сейфа катушку.

Это была частная заказная вещь — семейная хроника шестидесятилетней давности, чудом дожившая на ацетате до сегодняшнего дня и теперь стремительно умиравшая. Пятна, скрутка, эмульсия отходит от основы хлопьями. Реставрация плёнки — это всегда переговоры со смертью: ты не возвращаешь молодость, ты выторговываешь отсрочку. Вера разложила инструменты, взяла лупу часовщика — ту самую, львовскую, в которую он смотрел на мир последние полвека, — и склонилась над кадром.

Заказчик, разумеется, не понимал, зачем это всё. «Да оцифруйте и загрузите, в чём проблема». Он сказал это снисходительно, как говорят со знахаркой, к которой пришли от безысходности. Все так говорили. В мире, где забвение победили поколение назад — где память, опыт, узнавание лиц вынесены в облако, где всё можно сохранить, переслать, подчистить, — возиться руками с гниющим целлулоидом считалось милым чудачеством, вроде вязания или хождения пешком.

«Загрузите». Будто загрузка — это спасение. Вера знала, чего стоит «загрузить»: оцифрованный кадр уходил в «Нимб», и там — она это знала, хоть и не любила знать, — система делала с ним то же, что делала со всем общим. Дедулицировала. Если такой же закат, такое же лицо, такой же висячий дождь под жёлтым навесом уже лежали где-то в ядре, система не хранила копию — она ставила ссылку. Один закат на миллион людей. Экономно. Изящно. Вера видела в этом то же, что видела в реставрации наоборот: не отсрочку смерти, а отказ от отдельности. Твой дед переставал быть твоим дедом и становился ссылкой на общего деда всех людей.

Она помнила руками. Это была не поза и не упрямство — это была дисциплина, такая же, как у пианиста или у хирурга. Узел стоял и у неё, у всех стоял, его ставили в младенчестве; но Вера почти им не пользовалась, нарочно, годами, и оттого её собственная, биологическая память не атрофировалась, как у других, не одрябля за поколение безделья. Она помнила телефоны. Помнила дороги. Помнила лица — своей памятью, той, что в голове, а не той, что в облаке. «Чудачка», — говорили про неё, и в этом слове была жалость, как к человеку, который зачем-то таскает воду из колодца, когда есть кран.

Под лупой кадр был прекрасен и обречён: молодая женщина смеялась, запрокинув голову, в каком-то давно снесённом дворе, и эмульсия на её лице уже пошла мелкой сеткой,

будто старость наконец догнала её сквозь шестьдесят лет. Вера работала медленно, кисточкой, дыша ровно. Серебро темнеет от человеческого тепла — поэтому перчатки, поэтому холодные руки лучше тёплых, поэтому она и сама была немного холодна, привычно, по-рабочему.

Она домывала границу пятна, когда монитор на стене — она держала его для оцифровки, не любя, — тихо моргнул. На нём шёл фоновый процесс: оцифрованные накануне кадры уходили в облачный архив клиента. И вот теперь в превью что-то пошло не так. Лицо смеющейся женщины на экране на долю секунды стало другим лицом — мужским, незнакомым, — и вернулось. Потом двор за её спиной мигнул и сделался другим двором, с пальмой, которой здесь быть не могло, и снова собой.

Вера выпрямилась. Сняла лупу.

Так не сбоят файл. Файл рвётся, рассыпается в квадраты, зеленеет — но он не подменяет одно лицо другим, целым, осмысленным, чужим. Подменить лицо на другое лицо может только то, что хранит лица рядом. Только ссылка может показать не тот объект.

На экране ничего больше не происходило — смеющаяся женщина смеялась, двор был двором. Вера постояла, глядя на чёрное стекло, в котором отражалась её собственная неподвижная фигура с серыми руками. Жёлтый навес. Чужой шрам. Лицо, подменённое лицом.

Она не сказала себе ещё ничего — у неё не было слов, было только ощущение, физическое, как сквозняк по затылку. Что-то протекало. Не у Адама. Не в её студии. Где-то в самом низу, в общем, в том, что у всех одно на всех.

3

Над рабочим столом, на полке, стояла коробка, которую Вера не открывала.

Жестяная, из-под чая, с поблёкшим китайским рисунком на крышке; на ней лежал маленький латунный замочек, давно не запиравшийся, просто положенный сверху, как камень на крышку колодца. В коробке была плёнка — не заказная, своя, — и снимки, и одно письмо, и узкая полоска из четырёх кадров, какие делает фотобудка за монетку: четыре раза подряд, бах-бах-бах-бах, пока сидишь на крутящемся стульчике и смеёшься.

Вера не открывала коробку, но знала её наизусть, как знают больной зуб языком.

Она не собиралась её трогать и сегодня. Но руки, домыв пятно, сами потянулись вверх — может, от усталости, может, оттого, что чёрное стекло монитора слишком долго держало её собственное отражение, — и сняли коробку с полки, и поставили на стол, и сдвинули замочек. И прежде, чем она успела себя остановить, память поднялась сама, без всякого Узла, целиком, как поднимается из глубины большая рыба:

Тиму четыре. Они в кухне, утро, косой свет. Он сидит на полу и строит из деревянных катушек башню, очень сосредоточенно, высунув кончик языка — этот язык он унаследовал у Адама, тот же жест, та же сосредоточенность, — и башня падает, и он не плачет, а смеётся, потому что падать — это и есть самое смешное, и поднимает на неё глаза, и говорит: «Мама, ещё». И тянет к ней руку, требуя, чтобы она тоже строила, и рука у него тёплая, и в ладонке отпечаталась катушка, маленький кружок, и Вера берёт эту руку —

Она помнила его руку. Вес её помнила. Температуру. Это была её память, в её голове, выношенная, никем не дедуплицированная, потому что такой руки больше не было ни у кого на свете и ссылку на неё было поставить не на что.

Тим умер, когда ему было шесть. Двадцать лет назад. И всё это время Вера несла его одна — не потому, что Адам был жестокосерден, нет, он был добрым человеком, лучшим, кого она знала, — а потому что Адам его не нёс.

Адам его стёр.

Об этом они не говорили. Это было дно их брака, мёртвый центр, вокруг которого они кружили двадцать лет, ни разу не наступив. Когда боль стала невыносимой — а она стала, она была невыносимой, Вера и сама однажды чуть не утонула в ней, — Адам сделал то, что мир к тому времени уже умел делать и считал гигиеной: он убрал её. Отредактировал. Вынул из себя

эпизод, который убивал, как вынимают занозу, чисто, профессионально, со знанием дела — он же и строил инструмент. И встал наутро человеком, у которого не было мёртвого сына. У которого вообще не было сына. Который смотрел на её горе с мягким, любящим, чудовищным непониманием.

Вера тогда не ушла. Иногда она не знала почему. Иногда думала, что осталась сторожить: потому что если она уйдёт, то на земле не останется ни одного человека, который помнит, что Тим был.

Она положила полоску из четырёх кадров обратно, не глядя. Закрыла коробку. Сдвинула замочек на место.

Башня из катушек ещё стояла у неё под веками, и падала, и падала.

4

Майя позвонила в начале одиннадцатого, когда Вера уже поднялась из студии и грела руки о чашку, не выпив ни глотка.

Они с Майей не были близки. Майя была из прежней, рабочей жизни Адама — его наставница, потом со-архитектор «Нимба», потом изгнанница, ушедшая со скандалом, которого Вера не понимала и о котором Адам не рассказывал. С тех пор Майя возникала редко, как комета, всегда с дурными вестями и всегда права; её не любили звать.

— Вера. — Голос у Майи был как пересушенная глина — в нём не осталось влаги, одни трещины. — Адам дома?

— Спит. Майя, сейчас одиннадцать.

— Он сегодня ничего... не путал?

Вера молчала. За окном город лежал в обычном своём ночном свечении — мягком, ровном, чуть мерцающем по краям, как всегда, как все эти годы. Но теперь, после жёлтого навеса, после подменённого лица, это привычное мерцание показалось ей не уютным, а зыбким, будто весь город висел на тонкой нитке и подрагивал.

— Шрам, — сказала наконец Вера. — Он помнит у меня шрам, которого нет.

В трубке стало тихо — той особой тишиной, когда человек на том конце закрывает глаза.

— Началось, — сказала Майя. — Слушай меня. У тебя мало времени, и я объясню всё завтра как следует, но сейчас запомни три вещи, ладно? Просто запомни — ты же умеешь.

— Майя...

— Первое. Это не Адам. Это система. «Нимб» рассыпается, по-настоящему, каскадом, изнутри, из самого ядра, и это не починят, потому что починить нельзя по той же причине, по которой это вообще случилось. Второе. — Голос её не дрожал, но в нём была страшная экономия, как у человека, который давно всё это выплакал и теперь просто диктует. — Рваться будет не равномерно. Первыми забудут друг друга самые близкие. Те, у кого больше всего общего. Понимаешь, что это значит?

Вера понимала. Она не хотела, но понимала — холодом, тем самым, по затылку.

— И третье, — сказала Майя. — Аналог. Всё, что у тебя есть на руках, в коробках, на полках, — береги. Это скоро будет единственная память, которой можно верить.

В соседней комнате скрипнула кровать. Адам встал, прошлёпал босиком, остановился в дверях кухни, щурясь на свет, тёплый со сна, с отпечатком подушки на щеке.

— Кто это так поздно? — спросил он, и в голосе у него была обычная его уютная сонная мягкость. Потом он увидел лицо Веры и подобрался. — Майя? Что ей надо?

Вера прикрыла трубку.

— Она говорит, что-то с системой.

Адам улыбнулся — снисходительно, ласково, той улыбкой, которой улыбаются у постели больного фантазёра.

— Майя двадцать лет говорит, что что-то с системой, — сказал он. — Это её способ напомнить о себе. — Он подошёл, поцеловал Веру в висок — в тот самый, без шрама, — и

взял из её рук чашку, и отпил, и поморщился: остыло. — Скажи ей, пусть спит. И сама ложись. — Он потёр затылок под ухом, коротко, не заметив этого. — Завтра всё будет нормально.

Вера смотрела, как он ставит чашку и идёт обратно в темноту спальни, большой, тёплый, любимый, ничего не знающий, и в трубке у неё дышала Майя, и за окном чуть-чуть подрагивал город, и она держала в одной руке телефон, а другой — той, что ещё помнила тёплую детскую ладошку с отпечатком катушки, — держалась за край стола.

— Я приду завтра, — сказала Майя. — Береги его, Вера. И береги коробки.

Часть вторая. Гигиена

5

Майя пришла к вечеру и сняла шапку ещё в дверях, и Вера увидела её затылок.

У основания черепа, там, где у всех ровно тлеет Узел, у Майи был шрам — белый, грубый, рубцом, будто что-то выдрали с мясом. Майя удалила Узел. Давно, видимо; рубец был старый, заживший. Вера слышала об этом, но видеть было другое — это было как увидеть человека без тени.

— Можно не паяться, — сказала Майя, не оборачиваясь, вешая пальто. — Да, я его вынула. Не потому что мужественная. Потому что трусиха. Не хотела однажды проснуться и не вспомнить, в чём была права.

Они сели в студии — Майя сама пошла туда, вниз, к запаху фиксажа, будто к единственному чистому воздуху в доме. Достала из сумки блокнот, бумажный, исписанный от руки мелким злым почерком, и положила перед собой, как переводчик кладёт словарь.

— Адам где?

— Наверху. Я сказала, ты по работе.

Майя кивнула. Потом подняла на Веру глаза — выгоревшие, без жалости к себе и оттого без сентиментальности и к другим, — и начала объяснять, ровно, по-инженерному, тем голосом, каким объясняют устройство бомбы, которую уже не обезвредить.

— «Нимб» дедулицирует. Ты знаешь это слово?

— Знаю. Хранит общее один раз, по ссылке.

— Да. Гениальная экономия. Поколение назад это казалось чистой победой. Зачем хранить миллиард одинаковых закатов, миллиард первых поцелуев под дождём, если можно хранить один и ссылаться? Память человечества сжалась в тысячу раз. — Майя усмехнулась, и усмешка вышла как порез. — Мы не подумали об одном. Об одном-единственном. О том, что у дедуликации есть обратная сторона, и она называется коррелированный отказ. Если портится общий блок — а он начал портиться, неважно почему, износ, ошибка, энтропия, — то портится он не у одного. Он портится у всех, кто на него ссылается. Сразу. Каскадом. — Она постучала ногтем по блокноту. — Один гнилой закат — и слепнут все, кто им делился.

Вера сидела очень прямо.

— А резервные копии?

— На том же субстрате. Дедулицированные. — Майя смотрела ей прямо в глаза, не отводя. — Это и есть та самая ошибка, за которую меня выгнали, Вера. Я говорила: держите копии отдельно, независимо, разорвите ссылки, пусть это будет в тысячу раз дороже. Меня назвали луддиткой. Сказали — «душу нельзя дедулицировать» — это я сказала, на совете, вслух, и это стало анекдотом, которым меня провожали. — Она перевела дыхание. — Резерва нет. Когда падает целостность ядра, падают и копии, потому что копии — это те же ссылки. Восстановления не будет. Не потому, что я так придумала, и не потому, что злодеи зажали кнопку. По инженерной логике. Так тонут такие системы.

В студии было очень тихо. Наверху, над головой, скрипнул пол — Адам ходил.

— Сколько, — сказала Вера, и это было не «сколько у всех», это было «сколько у нас», и Майя поняла.

И вот тут впервые что-то дрогнуло в её сухом лице — не жалость, Майя не умела жалеть, а что-то вроде стыда, который сильнее жалости.

— Близость ускоряет распад, — сказала она тихо. — Я тебе говорила вчера. Чем больше общего, тем быстрее. Вы с Адамом женаты сколько?

— Двадцать восемь лет.

— Двадцать восемь лет общего. — Майя опустила глаза в блокнот, словно там было написано то, что она не хотела говорить с открытым лицом. — Он уйдёт быстро, Вера. Быстрее почти всех. Во-первых, из-за вас — из-за всего, что у вас одно на двоих. А во-вторых... — Она запнулась.

— Что во-вторых.

Майя подняла голову.

— Адам редактировал свою память. Сам. Глубоко. Я не знаю что — это не моё дело, — но я знаю как, я же его учила. Когда вырезаешь эпизод, на его месте остаётся шов. Пустая ячейка, заштопанная ссылками на соседнее. Шов — это слабое место. Он гниёт первым. — Она говорила теперь совсем ровно, гася собственный голос. — Там, где Адам что-то у себя удалил, каскад начнётся раньше всего. Его пустоты съест прежде остального.

Вера сидела не двигаясь, и под рёбрами у неё медленно, холодно складывалось то, чего она не хотела складывать.

Шов. Пустая ячейка, заштопанная ссылками. Место, где Адам вырезал Тима.

Там и начнётся.

— Я знаю, что он вырезал, — сказала Вера. Голос вышел чужой. — Я единственная знаю.

Майя посмотрела на неё долго.

— Тогда береги это крепче всего, — сказала она. — Потому что скоро ты будешь единственная, кто это вообще помнит.

6

Вера спросила Адама про память тем же вечером, после ухода Майи, и зря, и не зря.

Он мыл посуду — он любил мыть посуду руками, говорил, это его медитация, — и Вера встала рядом с полотенцем, и они стояли плечом к плечу у раковины, как стояли тысячи вечеров, и она спросила как бы между прочим, осторожно ступая к краю:

— Адам. Ты ведь редактировал у себя память. Когда-то.

Он не вздрогнул. Он домыл тарелку, поставил в сушилку, потянулся за следующей.

— Конечно, — сказал он спокойно. — Все редактируют. Ты тоже, просто медленнее и хуже — забыванием. Это то же самое, только грязно. Я делаю чисто.

— Что ты убрал?

— Боль, — сказал Адам. Просто, без паузы, как говорят «соль» или «вторник». — Какую-то боль. Не помню какую — в том и смысл. — Он улыбнулся, любясь логикой, как любовался ею всегда. — Понимаешь, боль — это не священная корова, Вера. Это плохо отмаркированные данные. Сигнал, который давно отыграл свою пользу и теперь просто жжёт провод. Я навёл порядок. Вынул то, что жгло, и заштопал. И стал лучше. Спокойнее. Добрее, между прочим, — кто всё время болит, тот не добр, ты же знаешь.

Вера держала полотенце и смотрела на его профиль — спокойный, ясный, освещённый кухонной лампой, профиль человека, безмятежно объясняющего, как он вырезал из себя сына.

— А если эта боль что-то значила, — сказала она тихо. — Если она была не провод. Если она была — память о ком-то.

— Тогда тем более, — сказал Адам, и впервые в голосе у него прорезалась лёгкая, инженерная твёрдость, как у человека, защищающего хорошо спроектированный мост от профана. — Память о ком-то, которая причиняет только боль и ничего не строит, — это что? Это памятник страданию. Зачем носить памятник? Любить можно и без раны. Я выбрал любить без раны. — Он закрыл воду, повернулся к ней, вытер руки о её полотенце — привычно, не отнимая. — Я знаю, ты считаешь это варварством. Ты и плёнку свою жалеешь, когда она гниёт. Но плёнка не чувствует, как ей плохо, Вера. А я чувствовал. И перестал. Это не варварство. Это милосердие к себе.

И тут его взгляд поплыл.

Это длилось секунду. Он смотрел на Веру и вдруг — на мгновение — посмотрел не на неё. Зрачки чуть разошлись, будто он искал её лицо и не сразу нашёл, будто наводил резкость. И сказал, всё с той же ласковостью, но не той:

— ...Прости, я отвлёкся. Что мы... О чём мы говорили? — Он коснулся затылка под ухом, и индикатор Узла там моргнул дважды, неровно, чего раньше не делал никогда. — Голова странная сегодня. Как будто... — Он искал слово. — Как будто слово на языке, а сказать не могу. И не одно слово. А много.

Вера стояла с полотенцем в руках, на котором ещё была влага его ладоней, и смотрела, как человек, минуту назад с инженерным спокойствием защищавший право вырезать из себя боль, не может вспомнить, о чём он только что говорил.

Он уже уходил. Прямо сейчас, у неё на глазах, посреди защитительной речи, он начал уходить — и его аргумент о том, что редактирование безопасно, договаривала за него сама система, разбирая его по швам.

— Ни о чём, — сказала Вера. — Иди, я домою.

Он поцеловал её — нашёл губами висок не сразу, чуть промахнулся, попал в скулу — и ушёл, потирая затылок, и в дверях обернулся:

— Вер. А мы посуду помыли уже или ещё нет?

7

Назавтра город начал мерцать всерьёз, и Вера увидела это сама, на улице, среди людей.

Они с Адамом вышли за продуктами — Вера не хотела отпускать его одного, под любым предлогом теперь не хотела, — и на углу, у входа в маленький магазин, стояла женщина и смотрела на витрину. Не на товар. На своё отражение. И лицо у неё было такое, что Вера остановилась.

Витрина двоилась. То есть отражение женщины в стекле было женщиной — а потом на долю секунды становилось другим человеком, мужчиной в шляпе, которого здесь не было, потом стариком, потом снова собой. Сама улица за стеклом тоже подрагивала: вывеска напротив была то синей, то красной, дерево у обочины то стояло, то его не было, и асфальт под ногами на миг делался брусчаткой и возвращался в асфальт. Будто город не мог решить, какую свою версию показывать, и быстро-быстро перебирал их все, кэшированные, наслоённые, кро-воточащие одна сквозь другую.

— Красиво, — сказал Адам, глядя на мерцание с лёгким, почти детским любопытством. — Сбой рендера. Видишь, ставят заплатку прямо на лету. Сейчас починят.

На стене дома тут же, словно в ответ, проступило служебное объявление — большое, спокойное, фирменных цветов «Нимба»: «Уважаемые пользователи! Мы фиксируем кратковременные перебои в работе слоя визуализации. Причина установлена. Идёт плановое восстановление. Ваши данные в безопасности». Буквы были такие уверенные, такие отглаженные, что Вера на секунду почти поверила. Многие верили. Люди на улице, заметив объявление, расслаблялись плечами, кивали друг другу: вот, причина установлена, восстановление идёт.

Чуть дальше, у фонаря, бойкий парень с лотка продавал «локальный патч» — маленькие наклейки на Узел, «экранирование от помех, ставится за минуту, гарантия». Возле него толпились. Брали. Платили. Парень работал быстро, как продают зонты в первый дождь, и глаза у него были сухие и весёлые, глаза человека, который знает, что продаёт пустоту, и знает, что пустота сейчас в цене.

— Шарлатан, — сказал Адам с лёгким презрением профессионала. — Никакая наклейка не лезет в протокол Узла. Это как от чумы — подорожник. — И в этом он был прав, абсолютно прав, и Вера на секунду уцепилась за эту правоту, как за поручень: вот, он ещё он, он ещё понимает, как всё устроено.

А потом им навстречу попался Гольдин.

Гольдин был сосед — двадцать лет сосед, этажом ниже, они вместе застревали в лифте, вместе ругали управдома, Адам одалживал ему дрель и обсуждал с ним футбол на лестнице. Гольдин шёл навстречу, узнал их, заулыбался, поднял руку:

— Адам Игоревич! С наступающим заранее!

И Адам посмотрел на него — приветливо, вежливо, доброжелательно — и не узнал.

Вера увидела это сразу, по глазам, по знакомой расфокусировке. Адам улыбался Гольдину доброй улыбкой человека, которому улыбнулся приятный незнакомец, и искал, что ответить, и не находил имени, и не находил вообще ничего, потому что Гольдина в нём уже не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.